

# Аффективные экономики<sup>1</sup>

DOI: 10.53953/08696365\_2026\_197\_7\_43

Sara Ahmed  
Affective Economies

**Сара Ахмед**  
Независимая исследовательница

**Sara Ahmed**  
Independent scholar

Глубина Любви укоренена очень глубоко в душе и духе настоящего белого националиста, и никакая «ненависть» не может даже сравниться с ней. По крайней мере, не та ненависть, которая основана на беспочвенных рассуждениях. Не ненависть вынуждает обычного белого мужчину с хмурым выражением лица и отвращением в сердце смотреть на смешанную пару. Не ненависть вынуждает белую домохозяйку с гневом и неприязнью отбрасывать ежедневную «еврейскую газету» после прочтения истории об очередном растлителе детей или насильнике, которого коррумпированные судьи приговорили всего к паре коротких лет тюрьмы или вовсе выпустили по условно-досрочному освобождению. Не ненависть вынуждает белого рабочего проклинать чужаков, высадившихся на наших берегах, чтобы забрать работу у белого гражданина, который обустроил эту страну. Не ненависть вызывает ярость в сердце белого фермера-христианина, когда он читает о миллиардах, которые дали в долг или «подарили» в качестве «помощи» для иностранцев, в то время как он сам не может добиться от безжалостного правительства хотя бы небольшой поправки, чтобы спасти свою ферму, находящуюся на грани разорения. Нет, это не ненависть. Это любовь<sup>2</sup>.

Как эмоции могут объединять одних субъектов и противопоставлять им других? Каким образом они перемещаются между телами? Я считаю, что эмоции имеют решающую роль в том, как индивидуальные и коллективные тела «проявляют себя» (*surfacing*) посредством циркулирования эмоций между телами и знаками. Этим предположением я собираюсь оспорить то, что эмоции — всего лишь личное дело каждого, что они просто свойственны отдельным людям и что они появляются внутри и лишь только *потом* выходят наружу, навстречу другим. Я уверена, эмоции существуют не просто «внутри» или «вовне», но создают эффекты поверхностей и границ тел и миров.

Например, в приведенном выше отрывке с веб-сайта «Арийских наций» эмоции, в частности ненависти и любви, играют решающую роль в разграничении тел отдельных субъектов и тела нации. В нем субъект (белый националист, обычный белый мужчина, белая домохозяйка, белый рабочий, белый гражданин и белый фермер-христианин) представляется как тот, кто находится под угрозой исчезновения из-за воображаемых других. Близость этих

---

1 Печатается с сокращениями. См. полную версию статьи: Ahmed S. Affective Economies // Social Text. 2004. Vol. 22. № 2 (79). P. 117–139.  
2 Aryan Nations website. 2001 (URL: [www.uiowa.edu/~policult/politick/smithson/an.html](http://www.uiowa.edu/~policult/politick/smithson/an.html)).

других может не только отнять что-то у субъекта (работу, безопасность, богатство), но и вообще заместить его. Иначе говоря, наличие этих других — угроза для объекта любви. Такое повествование включает в себя переписывание истории, в которой труд других (мигрантов, рабов) заслоняется фантазией о том, что именно белый человек «обустроил эту землю»<sup>3</sup>. Белые субъекты претендуют на место хозяев («наши берега»). И в это же время они претендуют на позицию жертв, тех, кто пострадал от «безжалостного правительства». Можно прийти к выводу, что именно любовь к нации вынуждает белых арийцев ненавидеть тех, кого они считают чужими: тех, кто крадет у них нацию, стирает роль арийцев в ее истории и отнимает у нации ее будущее.

Можно заметить, что считывание других как заслуживающих ненависти согласовывает воображаемого субъекта с определенными правами, а воображаемую нацию — с основанием. Так, и права субъекта, и основы нации уже заранее представляются как находящиеся под угрозой. *Именно эмоциональное прочтение ненависти связывает воображаемого белого субъекта и нацию воедино.* Обычный белый мужчина испытывает «страх и отвращение»; белая домохозяйка — «гнев и неприязнь»; белый рабочий посылает «проклятия»; белый фермер-христианин чувствует «ярость». Одержимость подобными негативными привязками к другим одновременно переопределяется как позитивная привязанность к воображаемым субъектам, объединенным через повторение означющего «белый». Именно любовь к белым или к тем, кто признается белыми, по всей видимости объясняет этот разделяемый «общий» внутренний ответ ненависти. *Мы ненавидим вместе, и эта ненависть — то, что нас объединяет.*

В этом нет ничего необычного. То, что эта история показывает нам на самом деле, так это производство обычного. Обычное здесь фантастично. Обычный белый субъект — это фантазия, которая возникает за счет мобилизации ненависти, как страстная привязанность, находящаяся вплотную к любви. Эмоция ненависти должна оживить обычного субъекта, воплотить эту фантазию в жизнь, представив обычное как находящееся в кризисе, а обычного человека — как настоящую жертву. Обычным становится то, что уже находится под угрозой со стороны воображаемых других, чья близость начинает считаться преступлением против личности и против места. Обычный или нормативный субъект воспроизводится в качестве потерпевшей стороны: как тот, кто «был задет» или даже пострадал в результате «вторжения» других. Так, тела других превращаются в «заслуживающие ненависти» через дискурс боли. Считается, что они наносят «увечье» обычному белому субъекту, поэтому их близость прочитывается как причина плохих чувств: подразумевается, что хорошие чувства белого субъекта (любовь, забота, верность) «отнимаются» у него из-за того, что другие злоупотребляют этими чувствами.

Так кого же ненавидят на самом деле в этой истории о нанесенном увечье? Очевидно, что ненависть распределяется по разным персонажам (в данном случае — смешанная пара, растлитель детей, насильник, чужаки и иностранцы). Эти персонажи воплощают угрозу потери: потери работы, денег, земли. Они означают опасность нечистоты, перемешивания или заражения крови. Они угрожают «чистым» телам осквернением; а эти тела могут считаться чис-

---

3 За это замечание я благодарна Дэвиду Ингу.

тыми, только если постоянно прокручивать в голове фантазии о насилии. Результат этого метонимического сдвига примечателен: межрасовые связи и иммиграция могут считываться как (похожие на) формы изнасилования или растления: некое вторжение в тело нации, представленное здесь как уязвимое и поврежденное тело белой женщины или ребенка. Смещение между персонажами конструирует отношение сходства: то, что делает их подобными друг другу, заключается в их «непохожести» на «нас». В этом нарративе ненависть не сосредотачивается в одном персонаже, но создает очертания разных образов и объектов ненависти. Очертания объединяют все образы и представляют их как «общую» угрозу. Важно, что ненависть не присуща какому-то одному человеку или объекту. Ненависть — это экономика; она циркулирует между означающими в отношениях различия и замещения.

В таких аффективных экономиках эмоции *выполняют определенную работу*, они объединяют индивидов с сообществами — или телесное пространство с пространством социальным — с помощью самой интенсивности тех привязанностей, которые они создают. Вместо того чтобы рассматривать эмоции как психологические особенности, нужно рассматривать, как именно они работают, опосредуя отношения между психическим и социальным, а также между индивидом и коллективом. В частности, я хочу показать, как действуют эмоции, сцепляя образы (склеивая их друг с другом). Склеивание создает эффект уравнивания беженца и международного террориста. Экономическая модель эмоций, которую я предлагаю, предполагает, что, хотя эмоции не присутствуют позитивно в самом субъекте или образе постоянно, они все же связывают субъект и образ воедино. Выражаясь более строго, отсутствие эмоций — это то, что делает их «связующими».

## Экономики ненависти

Повседневная речь, безусловно, конструирует эмоции как форму позитивного присутствия (*residence*). Так, мы говорим, что «у меня [есть] чувство». Или что фильм «является грустным». Говоря так, мы превращаем эмоции в собственность; в нечто, принадлежащее субъекту или объекту и принимающее форму характеристики или качества. Однако я не согласна с тем, что у меня есть некая эмоция; или что нечто или некто заставляет меня чувствовать себя определенным образом. Меня интересует, как эмоции *задействуют* субъекты и объекты, но без позитивного присутствия в них. Действительно, может показаться, что эмоции — это только форма присутствия, то есть эффект определенной истории, которая может действовать, замечая собственные следы. Очевидно, что такой подход взят из психоанализа, который к тому же является теорией субъекта, лишённого позитивного присутствия; в психоанализе эта нехватка бытия формулируется как «бессознательное». В своей статье о бессознательном Фрейд вводит понятие бессознательных эмоций — когда мы воспринимаем аффективный (или эмоциональный) импульс, но распознаем его неверно и призываем к чему-то другому<sup>4</sup>. В сознании вытесняется не само чувство, а идея,

4 Фрейд З. Бессознательное // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3: Психология бессознательного / Под ред. А.М. Боковикова и С.И. Дубинской. М.: Фирма СТД, 2006. С. 147–148.

с которой это чувство могло быть первоначально (но временно) связано. Психоанализ позволяет нам увидеть, что эмоциональность включает в себя движения и ассоциации, посредством которых «чувства» переносят нас на разнообразные уровни значений; не каждый из этих уровней может быть приемлемым на сегодняшний момент. Это можно назвать эффектом колебания (*rippling*) эмоций; эмоции движутся вбок (через «клеякие» ассоциации между знаками, образами и объектами) и назад (вытеснение всегда оставляет свой след в настоящем — соответственно, «то, что приклеивается» также связано с «отсутствующим присутствием» историчности). На примере цитаты в начале статьи можно отчетливо увидеть, как ненависть «передвигается» между персонажами, огибая их, и в обратном направлении от них, переоткрывая ассоциации из прошлого, которые позволяют распознавать отдельные тела как поводы для «нашей ненависти» или как «заслуживающие» ненависти.

Если задействовать психоанализ как теорию субъекта с нехваткой, то можно представить теорию эмоций как экономику, как *отношения различия и замещения, не имеющие положительного значения*. То есть эмоции работают как форма капитала: аффект не присутствует позитивно в знаке или товаре, а производится только как эффект их обращения (*circulation*). Я говорю об «экономике», потому что эмоции циркулируют и распределяются по всему социальному и психическому полю. Здесь я заимствую марксову критику логики капитала. Маркс в «Капитале» исследует, как движение товаров и денег, по формуле  $D - T - D$  (деньги — товар — деньги), образует прибавочную стоимость<sup>5</sup>. То есть через циркуляцию и обмен  $D$  получает большую ценность. Или, как пишет сам Маркс, «первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в обращении (*circulation*), но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость, или самовозрастает. *И как раз это движение превращает ее в капитал*»<sup>6</sup>. Я обнаруживаю похожую логику: движение между знаками конвертируется в аффект. Маркс связывает ценность с аффектом через фигуры капиталиста и скупца: «Это стремление к абсолютному обогащению, эта страстная погоня за стоимостью, является общей и для капиталиста и для собирателя сокровищ»<sup>7</sup>. Страсть движет накоплением капитала: капиталист заинтересован не в потребительной стоимости товаров, а в «растущем присвоении [абстрактного] богатства»<sup>8</sup>. На мой взгляд, страсть в этой теории — не стремление к накоплению (ценности, власти или значения), а то, что накапливается с течением времени. Аффект не присутствует в объекте или знаке; это — аффект самой циркуляции между объектами и знаками (= накопление аффективной стоимости со временем). Некоторые знаки увеличивают свою аффективную стоимость как эффект движения между другими знаками: чем больше они циркулируют, тем более они насыщаются аффектом, и тем более видимым становится их аффективное содержание. Можно также описать этот процесс, сравнив его с «товарным фетишизмом»: чувства возникают в объектах или сами выступают как объекты с собственной жизнью только благодаря

5 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 157.

6 Там же. Курсив мой — С.А.

7 Там же. С. 160.

8 Там же. С. 159.

тому, что они скрывают свою обусловленность историями, включая истории производства (труд и рабочее время), а также циркуляции и обмена.

Конечно, сравнение аффекта с экономикой не учитывает важное марксово различие между потребительной и меновой стоимостью и, следовательно, опирается на ограниченную аналогию. Поэтому, возможно, мой подход имеет больше общего с психоанализом, который делает акцент на различии и замещении как форме или языке бессознательного, что я описывала выше. Но мой подход расходится с психоанализом в том, что я отказываюсь отождествлять эту экономику с психикой (хотя *не* психической она тоже не является), то есть я отказываюсь возвращать эти отношения различия и замещения к означаемому «субъекта». Это «возвращение» встречается не только в работах Фрейда, но и в лакановском определении «субъекта» как собственно сцены отсутствия и потери<sup>9</sup>. Как утверждали Лапланш и Понталис, если Лакан определяет «субъект» как «локус означаемого», то «локус означаемого устанавливается именно в теории субъекта»<sup>10</sup>. Это конституирование субъекта как «установления» (*settlement*), даже если то, что устанавливается, отсутствует в настоящем, означает, что приостановленные контексты означаемого ограничены контурами субъекта. В отличие от этого, мое понимание ненависти как аффективной экономики показывает, что эмоции не обитают позитивно в любых телах, как и в любых объектах, подразумевая, что «субъект» — всего лишь один узел в этой экономике, нежели ее источник и направление. Это крайне важно: получается, что боковое и обратное движение эмоций, таких как ненависть, не содержится в контурах субъекта. Значит, бессознательное — это не бессознательное субъекта, а провал (*failure*) в присутствии — или неспособность присутствовать, — который конституирует относительность субъектов и объектов (то есть относительность, которая работает через циркуляцию знаков). Учитывая это, аффективные экономики следует рассматривать как социальные и материальные, а также как психические. В самом деле, если движение аффекта имеет решающее значение для того, как различаются «внутри» и «вовне», то психическое и социальное не могут быть установлены как правильные объекты. Вместо этого материализация, которую Джудит Батлер описывает как «эффект границы, неподвижности и поверхности»<sup>11</sup>, включает в себя процесс интенсификации. Другими словами, накопление аффективной стоимости формирует поверхности тел и миров.

Здесь мы можем задать вопрос, как циркуляция аффективных знаков придает форму материализации коллективных тел — таких, например, как «тело нации». Мы уже увидели, как ненависть проходит между разными фигурами и конституирует их как «общую угрозу» в том, что называется *hate speech*. Но подвижная работа эмоций не дает нам противопоставить экстремистские дискурсы и «повседневную» работу по воспроизводству нации. В качестве примера мы можем обратиться к речи о беженцах бывшего лидера Консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга. В период с апреля по

9 Подробнее об этом см. *Ahmed S. Differences that Matter: Feminist Theory and Postmodernism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 97–98.

10 *Laplanche J., Pontalis J-B. The Language of Psychoanalysis / Trans. by David Nicholson-Smith*. London: Karnac, 1992. P. 65.

11 *Butler J. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of «Sex»*. New York: Routledge, 1993. P. 9.

июнь 2000 года были и другие выступления, которые из-за их хронологической близости «приклеились» к теме «беженцев», а также повторения риторики и одних и тех же *клейких слов*. Так что содержание речей Хейга вполне предсказуемо. Такие слова, как *наводнили* и *погрязли*, создают ассоциации между беженцами и потерей контроля, *грязью* и *отходами* и, следовательно, работают на мобилизацию страха или тревоги по поводу реальной или потенциальной «переполненности» присутствием других людей. Эти же слова недавно повторил нынешний министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт, использовавший слово *наводнение*, чтобы описать эффект, который бы произошел, если бы дети беженцев обучались в местных школах. После критики в свой адрес он заменил это слово на *переполненность*. Кажется, что *переполненность* снимает значение *наводненности*, но, как мы можем увидеть, оно все еще вызывает ощущение захваченности другими. Это слово конструирует нацию как субъекта, который «не может справиться» с присутствием этих других. Слова здесь генерируют эффекты: они создают впечатления о других как о тех, кто вторгается в пространство нации, угрожая самому ее существованию.

В своих более ранних речах Хейг, как правило, проводил различие между теми, кому рады, и теми, кому нет, различая настоящих и фиктивных беженцев. Такое разделение отчасти позволяет субъекту нации поверить в свое собственное радушие по отношению к некоторым другим. Эта нация гостеприимна, потому что позволяет настоящим беженцам остаться. И в то же самое время это разделение конструирует некоторых других как заранее ненавидимых (поскольку они ненастоящие беженцы), тем самым определяя пределы или условия этого гостеприимства. Создание образа фиктивного беженца как объекта ненависти также включает в себя нарративы неопределенности и кризиса, которые *заставляют этот образ работать еще сильнее*. Как можно отличить ненастоящего беженца от настоящего? В соответствии с логикой этого дискурса всегда есть вероятность, что мы не сможем определить разницу, и тогда обманщики проникнут в наше общество. Это проникновение функционирует как некая технология, которая связывает физическое движение с формированием идентичности: проникнуть в пространство можно только в роли определенного субъекта, чье различие незаметно и непримечательно<sup>12</sup>. Эта двойственность, то есть возможность проникновения как настоящих, так и фиктивных беженцев, требует от Права и воли нации продолжать поиск различий и оправдывает формы насильственного вторжения в тела других.

Действительно, вероятность того, что мы не сможем увидеть между ними разницу, быстро становится вероятностью того, что любое из прибывающих тел может оказаться ненастоящим. Еще до своего прибытия беженцы рассматриваются как увечье для тела нации. Теперь обратимся к тому, как беженцы и представление об увечье телу нации уравниваются через приближение к ненавидимым персонажам. Образ фиктивного беженца может пробуждать образ бугимена, который преследует нацию и ослабляет ее способность защищать свои границы. Бугимен может быть где угодно и кем угодно, подобно призрачной фигуре в настоящем, он вызывает кошмары о будущем, а именно о буду-

12 Более подробно о том, как люди считаются расово или остаются незамеченными, см.: Ahmed S. *Passing through Hybridity // Theory, Culture, and Society*. 1999. № 6. P. 87–106.

щем увечье. Мы видим «его» снова и снова. Такие ненавидимые персонажи циркулируют и накапливают аффективную стоимость, потому что у них нет закрепленного референта. Так, образ фиктивного беженца отделен от конкретных тел: любые прибывающие в страну тела могут оказаться ненастоящими, так что их «бесконечное» прибытие воспринимается как пространство для «нашего ущемления»<sup>13</sup>. *Невозможность свести ненависть к конкретному телу позволяет ей циркулировать в экономическом смысле, чтобы отличать одних от других, — этот процесс различения никогда не «заканчивается», потому что ожидаются те другие, которые еще не прибыли.* Такой дискурс «ожидания фиктивных беженцев» оправдывает повторение насилия над телами других.

Выступление Хейга произвело определенный эффект из-за хронологической близости к другой речи, о Тони Мартине — человеке, приговоренном к пожизненному тюремному заключению за убийство шестнадцатилетнего мальчика, который пытался ограбить его дом в сельской местности в Великобритании. Одно предложение Хейга получило особенное распространение. Он утверждал (без упоминаний Мартина или беженцев), что закон «куда больше заинтересован в правах преступников, чем в правах людей, которых грабят». Подобное утверждение отсылает к истории, которая хотя и не упоминается в речи (в этом случае «приклеивание» может не совпадать со своим буквальным значением), но при этом выставляет Мартина жертвой, а не преступником. Теперь жертва убийства становится преступником: намеченное преступление, которого не произошло из-за убийства (а именно ограбление), замещает убийство и становится истинным преступлением и реальной несправедливостью. Эта замена жертвы на преступника становится скрытым высказыванием в поддержку права убивать тех, кто незаконно посягает на собственность.

Если разобрать это утверждение, то два случая «склеиваются» вместе: и ограбление, и предоставление права на убежище теперь становятся вопросом права на самозащиту. Фигура беженца приравнивается к фигуре грабителя. Их сопоставление выполняет важную работу: оно позволяет предположить, что человек в ситуации поиска убежища в чем-то «грабит» нацию. Эти «характеристики» одного образа замещаются или переносятся на другой. Или можно сказать, что это происходит за счет ассоциации между этими двумя персонажами, которые начинают жить «своей собственной жизнью», как если бы они обладали эмоциональным качеством. Грабитель стал иностранцем, а беженец — преступником. В то же время тело убийцы (который был переосмыслен как жертва преступления)<sup>14</sup> стало телом нации, чьи собственность и благосостояние подвергаются риску из-за вынужденной близости другого. В итоге уравнивание образов работает как нарратив о защите: нация / субъект нации вынуждены защищать себя от «вторжения» других. Этот нарратив не прого-

13 Для Британской национальной партии модель «любой может оказаться обманщиком» означает, что «все» являются или могут оказаться фиктивными беженцами: «Мы отменим программы, связанные с позитивной дискриминацией, из-за которых белые британцы стали гражданами второго сорта. Мы также будем жестко пресекать поток тех беженцев, которые либо врут, либо могут найти убежище гораздо ближе к своим родным странам». См. веб-сайт Британской национальной партии (URL: [www.bnp.org.uk/policies.html/immigration](http://www.bnp.org.uk/policies.html/immigration)).

14 *Rachman S. Anxiety.* Howe, U.K.: Psychology Press, 1998. P. 2–3; *Fischer W. Theories of Anxiety.* New York: Harper and Row, 1970.

варивается прямо, скорее, он работает посредством «движения» между персонажами. Циркуляция делает свое дело: она создает различие между «нами» и «ними», где «они» представляют собой повод или оправдание для «нашего» чувства ненависти. Действительно, можно увидеть, как привязка включает в себя смещение между болью и ненавистью: существует такое увечье, при котором близость другого (грабителя / фиктивного беженца) ощущается как насилие отрицания, направленное одновременно как против тела индивида (в данном случае фермера), так и против тела нации.

Мы видим, что аффективность ненависти — это то, что затрудняет ее определение, локализацию в теле, объекте или образе. Именно эта трудность составляет эмоции, подобные ненависти, работать именно так, как они работают; *дело не в невозможности ненависти как таковой, а в способе ее действия, посредством которого она проявляется на поверхности мира из других тел.* Другими словами, именно неспособность эмоций располагаться в теле, объекте или в конкретных персонажах позволяет эмоциям (вос)производить или порождать те эффекты, о которых идет речь.

## Страх, тела и объекты

Теперь я попробую связать мою модель аффективной экономики эмоций со страхом и материальным измерением тела. Примечательно, что страх — это эмоция, которая часто существует только *о-чем* своего объекта, а значит, как мне кажется, не действует в той экономической логике, которую я описывала выше. Страх часто противопоставлялся тревоге, поскольку у него *есть* объект. Например, как утверждает Стэнли Рахман, тревогу можно описать как «напряженное ожидание угрожающего, но неясного события» или чувство «беспокойного томления», в то время как страх — эмоциональная реакция «на распознаваемую угрозу»<sup>15</sup>.

Я не согласна с этой моделью, поскольку мне кажется, что страх связан с «прохождением мимо» объекта. К примеру, мы можем предположить, что история о беженцах, «наводняющих» нацию, работает как нарратив страха. Страх создает ощущение переполненности: вместо того чтобы содержаться в рамках объекта, он, напротив, усиливается из-за невозможности удержания. Если те, кого бояться, «проходят мимо», то другие также могут проникать в общество и вообще оказываться где угодно. Хайдеггер также полагал, что страх усиливается, когда он перестает удерживаться в приближающемся объекте:

---

15 См.: McGurran A., Johnston J. The Homecoming: It's Too Painful: Martin's Sad Return to Farm: Daily Mirror. 2003. August 9. P. 4–5. Тони Мартин был освобожден в августе 2003 года, и его история широко освещалась в британской прессе. В таблоидах Мартин представлялся как «обычный фермер», чей дом был разрушен. Заголовок на первой странице «Mirror» подытоживает: «Он убил, чтобы защитить свой дом... но теперь об этом слишком много воспоминаний». Трагедия этой истории заключается не в смерти «подростка-грабителя», а в потере Мартином своего дома: «Это больше не дом. Это пустая оболочка». Учитывая клейкую связь между «грабителем» и «настоящим беженцем», между «домом» и «Родиной», трагедия этой истории увязывается с трагедией, которую беженцы одним своим присутствием создают для «обычных людей», таких как «фермеры». Другими словами, мораль этой истории заключается в следующем: если мы впустим их, они превратят нацию в пустую оболочку и захватят землю, которую «обустроили мы».

Вредоносное как угрожающее еще не в поддающейся овладению близости, но близится. <...> В приближении возрастает это «может и в итоге все же нет». Страшно, говорим мы. Здесь заложено: вредоносное как близящееся в близи несет с собой открытую возможность не наступить и пройти мимо, что не уменьшает и не угашает страха, но формирует его<sup>16</sup>.

Важно, что Хайдеггер связывает страх с тем, чего еще нет «здесь и сейчас» ни в пространственном, ни во временном отношении. Страх отвечает на нечто приближающееся, а не на то, что уже есть в настоящем. Именно будущность страха делает возможным то, что объект страха, вместо того чтобы проявить себя, может просто пройти мимо нас. Но то, что объект страха «проходит мимо», вовсе не означает, что страх преодолен: напротив, возможность потери приближающегося объекта делает то, что внушает страх, еще более пугающим. Когда страх воплощен в конкретном объекте, то он может удерживаться этим объектом. Когда объект страха угрожает пройти мимо, страх больше не может удерживаться в пределах объекта. В своем непосредственном отношении к объекту, в интенсивности своей направленности на этот объект страх усиливается потерей. Мы можем охарактеризовать это отсутствие как не вполне настоящее присутствие, но не как полное отсутствие, как в случае тревоги. Или тревога привязывается к определенным объектам, которые начинают оживать, — но не из-за нее самой, а в результате ее перемещений. При тревоге мысли будто скачут между разными объектами, само это движение усиливает чувство тревоги. Сразу увеличивается количество «вещей», по поводу которых следует беспокоиться; отсоединение от объекта позволяет тревоге накапливаться. Иными словами, тревоге свойственно приклеиваться к объектам. Учитывая это, она становится приближением к объектам, нежели приближением самого объекта, как это действует в случае страха. Переход между страхом и тревогой случается именно тогда, когда объект «проходит» мимо.

Более того, связь страха с потенциальным исчезновением объекта гораздо глубже его связи с самим объектом страха. Другими словами, в чувстве страха на карту поставлен не только сам страх. По Фрейду, страхи сами по себе могут функционировать как симптомы, как механизмы защиты это от опасности. В статье «Торможение, симптом и тревога» Фрейд обращается к истории Маленького Ганса. У Ганса была фобия лошадей. Фрейд утверждает, что этот страх сам по себе является симптомом, который «заместил» другой страх, гораздо глубже угрожающий эго: страх кастрации<sup>17</sup>. Ганс мог «управлять» своим страхом лошадей с помощью избегания, так же, как он (не) мог управлять своим страхом перед отцом. Можно вспомнить, что в модели бессознательных эмоций Фрейда аффект сам по себе не вытесняется: скорее, вытесняется идея, с которой был связан этот аффект. Так что аффект страха поддерживается за счет замещения между объектами.

Замещение также связывает эти объекты друг с другом. Такие связки не создаются страхом, ведь они уже могут занимать свое место в социальном воображении. Во фрейдистской модели движение между объектами является

16 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. С. 165.

17 См. Фрейд З. Торможение, симптом и тревога // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 т. Т. 6: Истерия и страх / Пер. с нем. А.М. Боковой. М.: Фирма СТД, 2004. С. 227–308.

интрапсихическим и идет в обратном направлении; оно восходит к первичному страху кастрации. Или, если говорить более конкретно, боковое движение между объектами (в данном случае — между лошадыо и отцом) само по себе объясняется как обусловленное вытеснением идеи, с которой первоначально был связан этот аффект (угроза кастрации)<sup>18</sup>. Можно предположить, что боковое движение между объектами, склеивающее объекты друг с другом и наделяющее их значением угрозы, формируется посредством множества историй. Движение между знаками берет свое начало не в психике, а свидетельствует о том, что истории из прошлого живут в настоящем.

В качестве примера можно рассмотреть язык расизма, который обеспечивает поддержание страха посредством замещения, и то, как это воплощается в телах. Возьмем следующую цитату из книги «Черная кожа, белые маски» Франца Фанона:

Мое тело мне вернули раздавленным, искалеченным, четвертованным, погруженным в тоску белого зимнего дня. Негр — зверь, негр — плохой, негр — злой, негр — урод; смотрите, негр, на улице холодно, негр дрожит, негр дрожит, потому что ему холодно, маленький мальчик дрожит, потому что боится негра, негр трясется от холода, пронизывающего его тело до костей, симпатичный мальчуган трясется от страха, он думает, что негр трясется от ярости, маленький белый мальчик хочет к маме на ручки: «Мама, этот негр хочет меня съесть!»<sup>19</sup>

Страх здесь ощущается как холод; он заставляет тела дрожать от холода, проникающего с поверхности в глубины тела, как холод, «который пробирает до костей». Страх одновременно обволакивает тела, которые его ощущают, а также дает им ощущение окутанности, наполненности им, как будто он пришел снаружи и движется вовнутрь. В этой встрече страх не сближает тела: он не является разделяемым чувством, напротив, он действует на различие между белыми и черными телами. Белый ребенок ошибочно воспринимает дрожь черного тела как ярость, и это создает «основания» для его страха. Иначе говоря, другой прочитывается как устрашающий только из-за неправильного распознавания, прочтения, которое возвращается черному другому через ответный страх, а именно через страх перед страхом белого субъекта. Это не означает, что страх исходит от белого тела, как будто оно является источником этого страха (и его автором). Скорее, страх открывает истории из прошлого, которые приклеиваются к настоящему (в самом повторении детских фантазий о «том, чтобы быть съеденным», которые «берут на себя» значение социальных норм как «истин» о другом) и позволяют белому телу конструироваться отдельно от черного.

Здесь следует отметить, что у страха *есть свои функции*: он переустанавливает дистанцию между телами, различие между которыми стирается с их поверхности при помощи считывания, производящего саму эту поверхность (дрожь, изменение цвета кожи). Но что здесь совершенно ясно, так это то, что

18 Конечно, аргумент Фрейда о «бессознательных эмоциях» опирается на модель первопричины, или «истинной связи» между идеей и чувством; см. *Фрейд З. Бессознательное* // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3: Психология бессознательного / Под ред. А.М. Боковикова и С.И. Дубинской. М.: Фирма СТД, 2006. С. 147–148.

19 *Фанон Ф. Черная кожа, белые маски* / Пер. с англ. Д. Тимофеева. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 106.

объектом страха остается черный мужчина, который чувствует чей-то страх как свой собственный, как угрожающий его существованию. Страх не исходит изнутри субъекта, равно как и не располагается в его объекте: мы не боимся других потому, что они просто устрашающие. Черный другой «становится» устрашающим из-за этой циркуляции знаков страха. Но разве этот пример не демонстрирует нам, что страх действительно содержится в объекте, в данном случае — в черном мужчине? В некоторой степени это так: циркуляция знаков страха действительно приводит к сдерживанию одних и движению для других. Страх сдерживается в теле, которое в результате этого сдерживания становится объектом страха. Но очевидный страх белого ребенка приводит не к сдерживанию, а к расширению; его восприятие мира угадывается в том, как он переизобретает себя как находящегося-дома (залезть на руки матери как «возвращение домой»). Это черный субъект боится «последствий» страха белого ребенка, это он, заключенный в тело, которому отводится меньше места, раздавлен этим страхом. Иначе говоря, страх ограничивает одни тела посредством движения или экспансии других.

Такое сдерживание является эффектом движения как между знаками, так и между телами. Это движение завязано на ассоциациях из прошлого: негр, зверь, плохой, злой, урод. Другими словами, это движение страха между знаками, которое позволяет создавать объект страха в настоящем (негр — это зверь, плохой, злой, урод). Движение между знаками — это то, что позволяет приписывать другим эмоциональное значение, например, в этом конкретном случае — быть устрашающим; процесс приписывания зависит от истории, «приклеившейся» настолько сильно, что ее уже не нужно проговаривать вслух. Удержание позволяет предугадывать события: черный мужчина, зная, что он является объектом страха, всегда может пройти мимо. То есть физический аспект такого «минования» может ассоциироваться с прохождением страха между знаками: именно это движение усиливает аффект. Черный мужчина становится еще более угрожающим, когда он проходит мимо: его близость воспринимается как возможность будущего увечья. Таким образом, экономика страха направлена на сдерживание тел других — «успех» этого сдерживания зависит от его провала, поскольку сдерживание должно оставлять основания страха открытыми. В этом смысле, несмотря на кажущуюся направленность на объект, страх работает как аффективная экономика. Он не присутствует в конкретном объекте или знаке, и именно эта нехватка присутствия позволяет страху перемещаться между знаками и между телами. Это смещение прерывается лишь на время, в самой привязанности знака к телу, в то время как знак приклеивается к телу, конституируя его как объект страха; подобное конституирование тела окружает его страхом, который становится его собственным.

Боковое движение страха (где есть метонимическая «клеякая» связь между знаками) — это также и движение назад: со временем объекты страха замещают друг друга. Это замещение включает в себя прохождение мимо объектов, которых субъект, на первый взгляд, избегает. Страх и тревога создают эффект «того, кем я не являюсь», посредством аффекта отворачивания от объекта, которое тем не менее сохраняет угрожающий характер по мере прохождения мимо или замещения. В этом смысле страх не включает защиту границ, которые уже существуют; скорее, страх устанавливает эти границы через создание объектов, от которых субъект может держаться в стороне и которые за счет

этого становятся «не теми» — кого субъект в прямом смысле избегает. Страх не только влияет на границы между я и другими; отношения между объектами страха (а не просто отношения между субъектом и его объектами) формируются «клейкими» историями, которые делают одни объекты более устрашающими, чем другие.

<...>

*Перевод с английского Елизаветы Хереш  
Редактор перевода Мария Вятчина  
Научный редактор Николай Нахшунов*